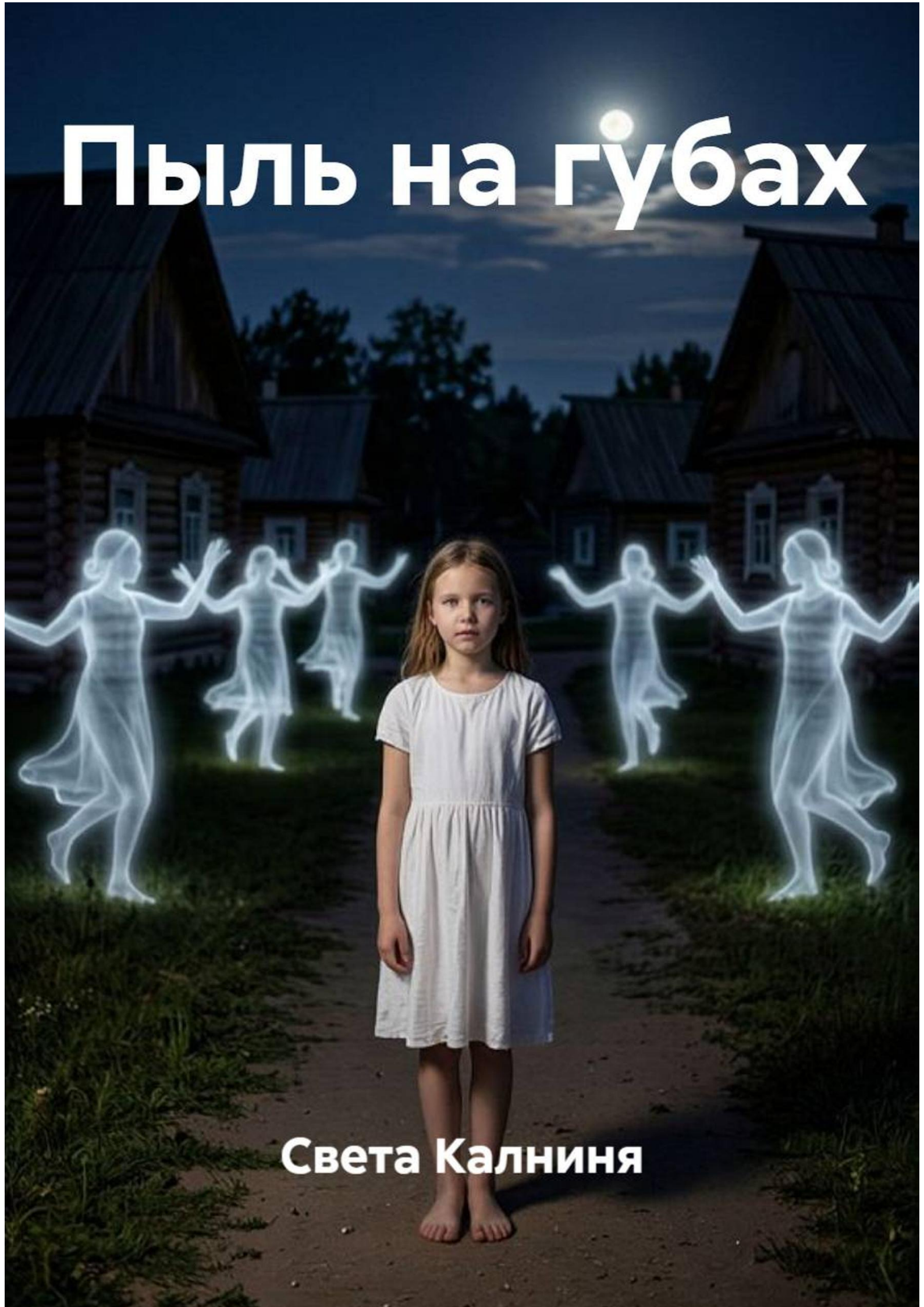


Пыль на губах

A movie poster for the film "Пыль на губах" (Dust on Lips). The central figure is a young girl with long brown hair, wearing a simple white short-sleeved dress, standing barefoot on a dirt path. She has a serious expression. Behind her, several glowing, ethereal white outlines of women in traditional Russian folk dresses are captured in various dance poses, as if they are spirits or memories. The background shows a village of wooden houses with dark roofs under a dark night sky with a full moon. The overall mood is mysterious and haunting.

Света Калниня

Света Калниня

Пыль на губах

«Автор»

2026

Калниня С.

Пыль на губах / С. Калниня — «Автор», 2026

Каждую ночь из-под земли звучит вальс. Кто услышит — уйдёт босиком и не вернётся. Она не убивает. Она танцует — и забирает навсегда. Деревню спасёт девочка, которая поёт против. Ей семь лет. Нота, которую она держит, — единственное, что стоит между живыми и танцем. Пока звучит нота — деревня спит. Прервётся — начнётся снова. Танец не кончается. Никогда.

© Калниня С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Пыль на губах

Глава 1

Каждая деревня в горах держится за одну историю. За единственную нить, на которую нанизано всё — имена, тропы, колодцы, кладбища. Если вытащить нить — всё рассыплется, и уже не собрать.

В деревне Мртвица, что стоит на излучине реки Дрине, у самой боснийской границы, такой нитью была история о Даме.

Никто не помнил, как её звали. Звали — Дама. И всё.

Говорили так.

Давно — так давно, что деды дедов не помнили, — проезжал через Мртвицу отряд турецких янычар. Было это в те годы, когда Дрина была границей, и на одном берегу стояли османы, а на другом — христиане, и каждый берег боялся другого. Янычары остановились на ночь, разожгли костры у реки, приставили караулы. Мирно. Тихо.

А утром нашли одного — мёртвого. Лежал у колодца, лицом вверх, глаза открыты, рот закрыт. На лице — ни раны, ни синяка. Просто — мёртвый. И вот что было странно: на ноге у него не было сапога. Только один. Левый. Правая нога — босая, белая, и пальцы — вытянуты, как будто в последний момент он тянулся, тянулся к чему-то. Или от чего-то отдёргивал ногу.

Турки подняли шум, искали, крутили — никого. Мртвица была маленькая, дворов пятнадцать, все на виду. Никто не входил, никто не выходил. Ночью лаяли собаки, но караульные клялись: никого не видели.

Отряд ушёл. Через день — другой янычар, тот же путь, та же ночь. Утром — у колодца. Мёртвый. Сапог на правой ноге, левая — босая. Пальцы вытянуты.

Командир отряда — ага Хасан, человек жёсткий и насмешливый — оставил трёх лучших людей. Переодели, спрятали в сене у колодца. Утром — все трое мёртвы. У одного — левый сапог снят. У двоих — оба. У всех — пальцы вытянуты, как у танцоров, что застыли на полушаге. И у всех — лица спокойные. Не мучные. Спокойные. Будто умерли во сне, во сне красивом, из которого не хочется возвращаться.

Хасан повернул отряд и ушёл. Больше через Мртвицу турцы не ездили. Дорога заросла. Деревня осталась.

И повелось.

Каждые семь лет — или около того, никто не считал точно — в Мртвице кто-то умирал. Всегда — ночью. Всегда — у колодца. Всегда — босой. Сапог, туфля, лапоть — что бы ни было на ноге — снималось. Нога — белая, пальцы — вытянуты. Лицо — спокойное.

И самое странное: на земле, вокруг тела, были следы. Босые, женские, маленькие. Они шли по кругу — вокруг тела, вокруг колодца, по траве, по пыли — и круги были ровные, правильные, как будто кто-то танцевал. Танцевал вокруг мёртвого — медленно, тщательно, шаг за шагом.

Старики говорили: Дама. Она приходит танцевать. Кого застанет у колодца — того уведёт. Не насильно. Он сам идёт. Идёт за ней, потому что она — красивая. Красивее всех. И танец её — красивее всех. И кто увидит танец — не может не пойти. Не может не танцевать. И танцует — пока сердце не остановится.

Её никто не видел. Никто живой.

Потому что увидеть Даму — значит уже не быть живым.

В Мртвице привыкли. Как привыкают к засухе, к волкам, к ледяному ветру с горы. После заката — не к колодцу. Дети — в дом. Двери — на засов. Собаки — в сених. И ничего. И обойдётся. До следующего раза.

Но вот что было странно, и об этом не говорили вслух, а только шепотом, и только самым близким: те, кто умирал у колодца, — умирали счастливыми. На лице — улыбка. Лёгкая, тёплая, как будто человек вспоминал самый лучший момент своей жизни. Одна женщина, Восилия, жена кузнеца, которая нашла тело своего тестя, сказала: «Он улыбался так, как улыбался в день свадьбы. Когда в первый раз поцеловал меня. Я такого лица у него не видела тридцать лет».

И ещё: у всех, кто умирал, — на губах была пыль. Тонкая, белая, как мука. И пахла — не смертью. Пахла духами. Тяжёлыми, сладкими, восточными. Так пахнет в кофейне в Сараеве, где курят нарگیле и пьют густой кофе из медных кружек.

Дама пахла кофейней. Дама пахла Востоком. Дама была — не отсюда.

Время шло. Мртвица старела. Молодые уходили — в города, в долины, к морю. Оставались старики, несколько семей, церковка, колодец. Тропа, по которой когда-то ехали турки, превратилась в козью дорожку, а потом — и вовсе пропала.

Но Дама осталась.

Это поняли, когда в одну осень, через двенадцать лет после последней смерти, у колодца нашли Яницу — девушку шестнадцати лет, внучку старосты. Она лежала на спине, босая, в одной туфельке — правой, бархатной, с вышивкой. Левая нога — белая, пальцы вытянуты. Лицо — улыбка. На губах — пыль. А вокруг — следы. Круги. Босые, маленькие, женские.

Но в этот раз — было иначе.

Яницу нашли не утром. Нашли в полночь. Нашла её мать, потому что не спала — слышала, как кто-то поёт. Тихо, далеко, из-за дома. Не по-сербски. Не по-турецки. На языке, которого не было. Мелодия — вальс, медленный, кружащийся, и от него кружилась голова, и хотелось встать и идти, идти на голос, на запах — духи, тяжёлые, сладкие, — и мать встала, но успела схватить себя за запястье и сжать так, что остались синяки, и пошла — не на голос, а к дочери, в комнату, — и дочери не было. Постель холодная. Окно открыто.

Она бежала по двору, и луна была полная, и всё было белое — стены, трава, крыши — и у колодца, на белом камне, лежала Яница. Босая. В одной туфельке. С улыбкой. И вокруг — следы. Круги. И следы были не только на земле. Они были и на камне колодца — отпечатки босых ног, маленькие, глубокие, как будто кто-то танцевал на камне, и камень поддался, стал мягким, как глина, и принял следы.

Мать закричала. Прибежали соседи. Принесли факелы. Свет — и следы исчезли. Просто исчезли, как будто факел их сжёг. И на камне колодца — ничего. Гладкий камень. Только Яница. И туфелька. Бархатная, с вышивкой. Левая.

Левую не нашли.

Староста, дед Милорад, собрал деревню. В церкви, при свече, при закрытых дверях. Сказал коротко:

— Она вернулась. И теперь берёт молодых. Раньше брала, кого застанет. Теперь — выбирает. Яницу выбрала. Значит, ей нужна кровь молодая. Значит, она голоднее, чем была. И значит — мало не будет.

Народ молчал. Боялись. Не Дамы — боялись слова «мало не будет».

— Что делать? — спросил кто-то.

— Звал я попа из Вишеграда, — сказал Милорад. — Поп не приехал. Сказал: это не по его части. Это не Божье и не чёртово. Это — другое.

— Как — другое? — не поняли.

— Поп сказал: есть то, что старше Бога и чёрта. Старше креста и старше молитвы. То, что было здесь до всего. До сербов, до турок, до римлян. До всех. И оно не зло. Оно — как река. Река не злая. Река течёт. И кого унесёт — того унесёт. Нельзя проклясть реку. Нельзя освятить реку. Можно только не лезть в воду.

— И что?

— И ничего, — сказал Милорад. — Не лезть в воду. Не ходить к колодцу. Всем. Всем. С сегодняшнего дня — воду брать из Жучи, из ручья. Колодец — закрыть. Камнем. Засыпать. Забыть.

Колодец закрыли. Завалили камнями — тяжёлыми, с горы. Положили сверху ветки, полили святой водой — на всякий, хоть поп и сказал, что не поможет. Поп Дамьян, свой, местный, read молитву — «От нечистого, от нежити, от всякого зла» — и крест положил на камни, деревянный, большой, от церкви.

Три дня было тихо.

На четвёртый день пропал мальчик. Бранко, девять лет, сын пастуха. Не у колодца — колодец был завален. Он пропал из дома. Из своей кровати. Окно было закрыто — на защёлке, изнутри. Дверь — на засове. Мальчик — просто gone. Как будто его не было. Постель тёплая. На подушке — след, маленький, как от головы. И на подушке — пыль. Белая, тонкая. И запах — духи.

Искали. Три дня. По лесу, по руслу, по оврагам, по пещерам — нигде. На четвёртый день нашли. Не у колодца. Далеко. На поляне, в буковом лесу, на полпути к Сурче — там, где тропа вьётся и где старики говорят, что в полнолуние слышна музыка. Музыка, которой нет. Вальс, медленный, кружащийся.

Бранко лежал на мху. Босой. Сапоги — рядом, оба, не снятые, а поставленные, аккуратно, как будто он сам их снял и поставил. Пальцы — вытянуты. Лицо — улыбка. Не детская. Взрослая. Улыбка человека, который увидел что-то — и больше ничего не хотел.

И вокруг — следы. Круги. Босые, маленькие, женские. На мху, на листьях, на камнях. Кружили, кружали, пересекались — как танец, как хоровод, как рисунок, который танцовщица рисует ногами по полу, и пол — запечатлел.

И ещё: на деревьях вокруг поляны — на коре, на высоте двух человеческих ростов — были царапины. Неглубокие, но чёткие. Как будто кто-то — танцую — задевал деревья ногтями. На высоте, куда человек не достанет. Если только — не танцует. Если только — не летит.

Поп Дамьян пришёл на поляну, посмотрел. Постоял. Помолчал. Потом сказал — негромко, так что только Милорад услышал:

— Это не Дама.

— Что?

— Это не Дама. Дама — из колодца. Дама — из воды. Это — из леса. Это с горы. Дама танцевала у колодца. А эта — танцует везде. Эта — сильнее. Эта — голоднее. Эта — уже не та, что была.

— А какая?

— Не знаю, — сказал поп. И впервые за тридцать лет служения — перекрестился не перед иконой, а перед лесом. Не от нечистого — от непонятного.

А ночью слышали музыку.

Все. Вся деревня. Не из-за дома, не от колодца — отовсюду. Как будто кто-то поставил оркестр на горном склоне, и ветер нёс мелодию вниз, в долину, в дома, сквозь стены, сквозь окна, сквозь закрытые ставни. Вальс. Медленный, кружащийся, и в нём — струнные, и что-то ещё, чего не бывает у скрипок: низкий гул, как от большой балалайки, и поверх — голос. Женский, тонкий, без слов, без слов, только звук — «а-а-а», долгий, бесконечный, как нота, которую держат, держат, держат, пока не кончится дыхание. Но дыхание не кончалось.

Собаки не лаяли. Куры молчали. Коты сидели у окон и смотрели — не наружу. Внутрь. В комнаты. Как будто знали: там, снаружи, — не то, на что можно смотреть.

Дети спали. Глубоко, крепко, с улыбками. Все — с улыбками. Матери проверяли — будили, трясли — дети не просыпались. Дышали. Тёплые. Но не просыпались. Как будто музыка была колыбельной — и колыбель качалась, и дети плыли, и не хотели на берег.

Милорад сидел у себя в доме, при свече, стиснув колени. Жена его, Стана, лежала на кровати — не спала, но и не двигалась, смотрела в потолок, и губы её шевелились — она считала. Считала что-то. Считала и считала, и Милорад не мог разобрать слова, и боялся подходить.

Музыка играла до рассвета. Как только первый свет — серый, слабый — пробился в щель ставни, музыка оборвалась. Не стихла — оборвалась. Как струну перерезали.

Стана закрыла глаза и заснула — сразу, провалилась, как камень в воду. Милорад сидел ещё час, пока не рассвело, и потом — не двинулся. Сидел и смотрел на свои руки. Руки дрожали. И на правой руке, на безымянном пальце, не было кольца. Обручального. Золотого. Тонкого. Кольцо, которое носил сорок лет.

Он не помнил, как снял. Не снимал. Оно просто — исчезло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.